

ЗАМЕТКА СОБИРАТЕЛЯ¹

<...> Летом 60 года я получил от местного начальства официальное поручение — собрать данные об источниках, из которых составляются ведомости статистического отчета. Командировка эта представляла мне возможность не только побывать в уездных городах Олонецкой губернии, но и заглянуть в деревенский быт. Решившись воспользоваться ею для собрания этнографических материалов, я рассудил оставить почтовый тракт и ехать по губернии проселочными дорогами и водою. Это давало мне средства всмотреться в быт крестьян и отчасти избавляло от официальности. Известно, как трудно добиться каких-нибудь верных сведений от народа «барину», и тем более чиновнику. Его звание, подорожная, вся обстановка его езды как-то не внушают к нему народного доверия; крестьянин всегда склонен к подозрению, что у чиновника есть, пожалуй, какое-нибудь «касательное» до него дело, а если касательного дела и нет, то самая личность чиновника, его понятия, его привычки делают его чужим для крестьянина. Неужели же, скажут иные, после этого для собрания этнографических данных нужно переряжаться в русское платье и подражать внешности простолюдина. Переряживание и подражание, разумеется, никуда не годятся. А можно носить русское платье, и тогда это бесполезно для изучения народного быта в великорусских областях. По крайней мере, мне лично это помогало в сношениях с черниговскими слобожанами, хотя и повлекло за собою важные неудобства. Но главное дело не в платье: надо носить в себе уважение к самостоятельности религиозных верований народа, к особенностям его быта, к тяжкому труду землепашца, работника и ремесленника, и отбросить в сторону некоторые кабинетные предрассудки и барские замашки. Тогда крестьянин не откажется признать своего брата и в человеке, получившем университетское образование, и охотно расскажет ему, что нужно.

Итак, в свежее майское утро отправился я на общественную пристань в Петрозаводске и стал приискивать лодку для переезда на Пудожский берег. Хотя лед еще не вполне потонул на озере, однако у пристани виднелось уже много сойм и лодок. На них приехали Заонежане, Повенчане и крестьяне с Пудожского побережья. Эти бесстрашные мореходы, как только дождутся того, что лед на озере проламается, тотчас же отправляются в Петрозаводск за мукою, и с собою привозят мясо, масло, яйца, рыбу и другие припасы. Гребцы у них не наемные: и на поезде, и на возвратном пути хозяева берут в гребцы родных и знакомых соседей, которые за свою работу переезжают даром до города или до дому. На этот раз из Пудожского побережья была только одна сойма. Устроена она была не совсем-то ладно; вместо палубы на ней был навес из плохо сколоченных досок, помещение под навесом было сырое и грязное,

наруса сшиты из лохмотьев, руль налажен кое-как, весла самодельные. Знакомые мои отговаривали меня всячески от поездки водою: по их словам, озеро Онежское очень бурное, перемены ветра совершенно неожиданные, а в разных местах рассеяно множество «луд» (мелей) и подводных камней. Но хозяин соймы, Иван из «Пестьян» (Песчанской волости), понравился мне своим приветливым обращением и словоохотливостью, и я скоро уговорил его перевезти меня в Пудожгорский приход. Плату за провоз он выпросил самую ничтожную (3 р. с.), да и та предназначалась им для гребцов. Долго-долго дожидался я «поветери»: несколько дней, как нарочно, дул сток, зимняк и меженец, а нам нужен был шелоник, запад, или полден. На четвертый день ветер стих, и лодочники решились пуститься в путь на гребле, а их было трое мужчин и одна женщина. В светлую и холодную весеннюю ночь мы простились с баженным (милым) городком и поехали к Ивановским островкам. Поднялся «стретный» ветер. Чем больше мы подвигались вперед, тем сильнее он разыгрывался, и только к утру, часов через шесть самой утомительной работы, измученные гребцы пристали к Шуй-наволоку, пустынному, болотистому и лесистому острову, в 12-ти верстах от Петрозаводска.

На острове стоит закопченная «фатера», домик, куда в меженную и осеннюю пору, при затишьи, противном ветре и буре, проезжие укрываются на ночь. Около пристани было много лодок из Заонежья, и «фатера» народом полным-полна. Правду сказать, она была чересчур смрадна и грязна, и, хоть было очень холодно, но не похотелось мне взойти в нее на отдых. Я улегся на мешке возле тощего костра, заварил себе чаю в кастрюле, выпил и поел из дорожного запаса, и, пригревшись у огонька, незаметно заснул; меня разбудили странные звуки: до того я много слышал и песен и стихов духовных, а такого напева не слыхивал. Живой, причудливый и веселый, порой он становился быстрее, порой обрывался и ладом своим напоминал что-то стародавнее, забытое нашим поколением. Долго не хотелось проснуться и вслушаться в отдельные слова песни: так радостно было оставаться во власти совершенно нового впечатления. Сквозь дрему я рассмотрел, что в шагах трех от меня сидит несколько крестьян, а поет-то седатый старик с окладистой белою бородою, быстрыми глазами и добродушным выражением в лице. Присосежившись на короточках у потухавшего огня, он обращившись то к одному соседу, то к другому, и пел свою песню, перерывая ее иногда усмешкою. Кончил певец, и начал петь другую песню: тут я разобрал, что поется былина о Садке купце, богатом госте. Разумеется, я сейчас же был на ногах, уговорил крестьянина повторить пропетое и записал с его слов. Стал расспрашивать, не знает ли он чего-нибудь. Мой новый знакомый, Леонтий Богданович, из деревни Середки, Кижской волости, пообещал мне сказать много былин: и про Добрынюшку Никитича, про Илью Муромца и про Михайла Потыка сына Ивановича, про удалого Василия Буславьевича, про Хотенушку Блудовича, про сорок калик с кали-

кою, про Святогора богатыря, да знал-то он варианты неполные и как-то не досказывал слов. Потому я напечатал впоследствии только те из его былин, которые дополняли своими подробностями другие варианты, или представляли совершенно новое содержание. Впрочем на первый раз и записывалось как-то неохотно, а больше слушалось. Много я впоследствии слышал редких былин, помню древние превосходные напевы; пели их певцы с отличным голосом и мастерскою дикцией, а по правде скажу, не чувствовал уже никогда того свежего впечатления, которое произвели плохие варианты былин, пропетые разбитым голосом старика Леонтья на Шуйнаволоке.

На рассвете около костра собралось много проезжих, большею частью из-за Онеги: народ все был приветливый, радушный, вел веселую беседу, держал себя с удивительным тактом и, по врожденной вежливости, при первом свидании не расспрашивал о цели моей поездки. Я им сам объяснил, что вот-де еду по губернии по ученому делу: — для правительства нужны верные сведения о числе народонаселения, о его прибыли и убыли, о его здоровье и долговечности, наконец о его благосостоянии, и вот я за тем еду, чтоб проверить, как эти сведения собираются в нашей губернии. Крестьяне не только поняли мои слова, но даже один из них, грамотный крестьянин с Пудожского берега, тут же объяснил мне, что этих делов у них из волости ежегодно требуют и становой, и окружной. «Ну, говорит, наш писарь (старшина-то наш неграмотен) сейчас и отпишет им, что следует». — Да откуда же он знает? — «Нашему да писарю не знать: у него есть тоже подначальные писаря. Вот он с ними посоветует, да и отпишет, как ему надобно». — Ну, а как ты полагаешь: пишет-то он правду? — «А кто его ведает: по другим-то делам он редко пишет правду». Когда крестьяне убедились, что у меня до них никакого «касательного» дела нет и что я совсем не полицейский чиновник, то сделались еще разговорчивее и сами повели речь о разных народных поверьях: в короткое время можно было составить себе понятие о целой Заонежской демонологии. Им совсем не казалось странным, отчего я их расспрашиваю про их быт и поверья, потому что они убедились, что мне хорошо известны многие их обычаи и сказания.

Пока мы беседовали у костра, совсем рассвело, а попутного ветра все не было. Мои новые знакомцы стали меня уговаривать — проехать с ними в Заонежье и оттуда уже переправиться к Пудожгорю. «Сойма у нас славная, — ласково говорили они мне, — нас целые три перемены гребцов, и мы тебя к вечеру же представим в Кижи». Такой радушный, откровенный народ были эти кижане, что меня так и потянуло побывать у них в Заонежье. Сама собою у меня сложилась твердая уверенность, что я найду там много интересных памятников народной поэзии, и явилась неременная решимость их разыскивать. Не думая долго, я рассчитался с прежним хозяином и сел в сойму к Ошевневу (так звали владельца новой соймы). Его лодка была поменьше старой, без палубы и вся зава-

лена кулями с мукою. Гребцы были все из соседей или однодеревенцев Ошевнева. Одни из них работали веслами, другие закусывали и весело перекидывались с ними прибаутками, а третьи опочивали на кулях. Сам хозяин все хлопотал об угощении работников и баб. Леонтий Богданович то присоединится к гребцам и подзадоривает их спеть песенку, то перейдет ко мне и прерывающимся голосом заведет какую-нибудь старину, то примется болтать с бабами. Ему уже лет семьдесят с хвостиком, а он все еще здоровый, крепкий мужик. Соседи его звали человеком волокитным, т. е. бывалым и работающим. На веку своем он натерпелся-таки вдоволь: был он и на посылках у какого-то чиновника, ходил и на рыбные промыслы на Ладожское озеро, живал и в артельщиках в Петербурге и хаживал «со щетью»² по деревням. Хороших дней у него в жизни было немного. «Я гол как сокол, — говорил он мне, — а семья-то у меня не малая: с сыниной семьей десять ртов, десять животов». Но при постоянных неудачах никогда не покидала его веселость. И теперь он пел и заигрывал с бабами, а у другого бы кошки на сердце скребли. Поехал он в Петрозаводск за мукою, и подвернулся ему на грех «хороший человек», и деньги на муку у него пошли «во царев кабак». Несмотря на это, он упорно звал меня к себе в гости, и взял слово, что я ни у кого, кроме его, не остановлюсь. «Ты только заверни ко мне, — там я и сам тебе былинки напою и найду тебе таких сказителей, что супротив их не будет в целом Заонежье. Повезу тебя по всем Кижам, по всем губам и по всем островам. Хошь медную руду покажу, где она добывается, а заохь, так свезу на Святой наволоке. Там, П. Н., растут всякие полезные травы, в старое время их и в Питери брали». При дружной гребле лодка живо подвигалась по водам озера, и к полудню мы дошли к луде «Монаху», где считается половина пути от Петрозаводска. «Монах» — это длинная и узкая мель, едва-едва она поднимается над поверхностью воды; посредине она разорвана большою трещиною. С девятым валом волны шумно вливаются в пропасть и с шумом выливаются обратно в озеро. В бурную погоду много лодок погибает у этой мель.

Дорогой мы приставали еще к островку Ярь-наволоке и Гарницкой луде, а к вечеру въехали в Кижскую губу. Онегом все дули холодные ветры, местами еще плавали льдины: было холодно, и мы все кутались. Кроме воды и неба ничего не было видно: по крайней мере я, по близорукости своей, ничего не мог рассмотреть в дали, кроме длинной полосы берега, который то приближался, то исчезал. Но как только мы въехали в Кижскую губу, и воздух, и окружающая местность изменились, как будто бы по-щучьему веленью. Стало тепло, гребцы распоясались и поскидали кафтаны. Узкая полоса залива или, лучше сказать, пролива тянулась в неизмеримую даль. По обеим сторонам его выступали гористые берега самых причудливых очертаний, они были изрезаны небольшими заливами, наполнены островками. Тут вдавалась глубоко в берег за́берега, там мы плыли «по тихой по заводи», а где тихая заводь,

там есть и «затресье», только в мае месяце затресья были покрыты не зеленою «трестею», а белую, высохшую от мороза и ломавшуюся от удара весел. По берегам виднелись деревни, выселки и починок. Избы в иных местах надвинулись к самой воде, и от них идут в озеро длинные «мостовища», куда пристают лодки. И над всем этим господствовала угрюмая, величественная северная природа, синева сосен, суровое очертание скал, да извилины озера. Такплыли мы к Кижскому погосту, а Леонтий Богданович пел в хоре.

Не кукушечка в сыром бору скуковала,
Ай, не соловьишко в зеленом садочку жалко свищет,
Ой, добрый молодец в невольюшке слезно плачет.
Растоскуйся-ко, моя сударушка, да разгорюйся,
Уж я сам, ах, пошел, моя сударушка, да сгоревался,
Уж пошел я, сгоревался-стосковался,
Ох, малешенек сын у батюшки приостался,
Я родной-то своей матушке не вспомню,
А кто меня, сиротинушку, воспоил-воскормил?
Воспоил-воскормил сиротинушку православный мир,
Воспоила добра молодца Волга матушка-река,
Завила желты кудри красна девица-душа.

К ночи мы подъехали к деревне Середке. Ошевнев посадил меня тут, а сам поехал домой. Выход на сушу не обошелся без приключений. Спутники разобрали мои вещи, чтобы перенести их к Леонтию Богдановичу. Дорожную сумку, где была записная книжка, немного чаю и несколько пачек с сигарами взяла ветхая старушка; а я ей наказывал лучше не брать: «ты, мол, уронишь». И действительно, только вступила она на мостовище, как сумка вылетела у ней из рук и пала в воду. Невольно у меня сорвалось с языка: «Говорил тебе, бабушка, не брать. Эх, унеси ты». Старуха чуть не взвыла и стала мне выговаривать. «Эх ты, мой жадобненькой, красное солнышко! Ты зачем это выговорил? Дорожному человеку нелице кликать лембою»³. Пришлось ее успокаивать, а Леонтий Богданов дорогой мне объяснил, что заклятие дорожного человека действительно великое дело; что вот ряпушка в заливе около Кижей лет 25 не ловится и совсем нейдет в пролив, а заклял ее тоже дорожный человек. «Сидят эти наши старики возле костра, — говорил он, — и хлебают уху. И подходит к ним проезжий: вот они местечко ему около костра дали, а ухой-то и не попотчевали. Сидят они и глотают «вологу» ложка за ложкой, а он смотрел-смотрел на них, да и говорит: «Видно рыбки-то у вас мало ставится, так и будет». И с той поры за ряпушкой ездим в большое Онего».

«Есть у нас два таких сказителя, — говорил мне в тот же вечер Л. Богданов, — что супротив их не будет в целом Заонеге. Один — Кузьма Иванов Романов, живет в деревне Лонгасы, в Сенногубском погосте, а езды к нему отселева на полчаса времени; другой — Трофим Григорьев Рябинин из нашей же деревни Середки». — Свези-ка меня завтра же к этому Рябинину. — «Нет, П. Н., мне поутру не слободно, да и надо сначала мне к нему наведаться: мужик он гордый и упрямый. Коли его наперед не уломать, так ты ничего от него не добьешься».

Леонтий ушел рано из дому и, воротившись домой к пабедью, объявил, что Рябинин придет сегодня же к нему в избу. Днем я бродил по деревне и познакомился с многими одnodеревенцами Леонтия, а вечером они целою гурьбою пришли к нам в гости. Стали они мне передавать разные местные предания о панах, о Петре Первом, как через порог избы переступил старик среднего роста, крепкого сложения, с небольшой седеющей бородой и желтыми волосами. В его суровом взгляде, осанке, поклоне, поступи, во всей его наружности, с первого взгляда были заметны спокойная сила и сдержанность. «Вот и Трофим Григорьевич пришел», сказал мне Леонтий.

После обычного обряда знакомства, я рассказал Рябину про любовь свою к старинным песням и стал убедительно просить его спеть о каком-нибудь богатыре. «Негоже нонь сказывать мирские песни, — отвечал он, — ноне пост: наб стихи петь». Тут, как сумел, я объяснил ему, что если не грех петь стихи, так не грех и былины сказывать. «В стихах, Т. Г., — говорил я, — поют, в назидание слушающим, о святых людях; да ведь и в былинах сказывается о вековечной старине, о древних князьях и святорусских богатырях. Сам ты знаешь, что в былинах на конце припеваеся: «Синему морю на тишину, а всем добрым людям на послушанье». — Или Рябина убедил мои доводы, или ему самому захотелось развернуть свое уменье перед внимательным и сведущим слушателем, только тут же стал мне сказывать о Хотене Блудовиче. Он выговаривал былину пословечно, я записывал наречно, а когда он кончил, я попросил его спеть, и по петому поправил свою запись. Напев былины был довольно однообразен, голос у Рябина, по милости шести с половиной десятков лет, не очень звонок; но удивительное умение сказывать придавало особенное значение каждому стиху. Не раз приводилось бросить перо, и я жадно вслушивался в течение рассказа, затем просил Рябина повторить пропетое и нехотя принимался пополнять свои пропуски. И где Рябинин научился такой мастерской дикции: каждый предмет у него выступал в настоящем свете, каждое слово получало свое значение!

В тот же вечер Рябинин пропел мне о Иванушке Годиновиче, боярине Ставре, Садко и Михайле Потыке. В следующие дни он приходил ко мне по вечерам без зова и сам вызывался рассказать что-нибудь новое. Обыкновенно я называл ему богатырские имена, какие знал, иногда рассказывал вкратце подвиги богатыря, а Рябинин тут же припоминал былину, или же предлагал вместо нее спеть другую: «Этой я, П. Н., не знаю, а вот спою тебе про Вольгу Святославича». Бывало и так, что он подолгу отказывался завести иную былину, потому-де что всея не помнил. Например, из старины о Садко и одного варианта о Потыке он знал только начало.

По хозяйству Рябинин «полномочный крестьянин»: у него хороший участок земли; но главный его промысел рыболовство, доходами от которого он уплачивает подати и кормит большую семью,

которой на год недостало бы своего хлеба при скудных северных урожаях. Учителей у Рябинина было несколько: иным былинам он научился от великого сказителя, дяди своего Игнатия Андреева, другим от какого-то петербургского трактирщика Кокотина. Этот Кокотин, большой охотник до былевой поэзии, читывал ему многие былины из рукописной тетрадки. В ней, например, было записано, как Добрынюшке покрут понадобился для князя Владимира, и как этот богатырь ездил в чужие земли за дорогими шелковыми материями. От того же Кокотина Т. Г. слышал о Гальяке неверном — Федоре Иванове и сыне Владимировом. Но главный наставник Рябинина был Илья Елустафьев, память о котором и теперь сохранилась в Кижской волости. Был он первый сказитель в целом Заонежье и во всей Олонецкой губернии. Знал он несчетное множество былин и мог петь про разных богатырей целые дни. Заонежане любили слушать его и даже платили ему за сказанье. Соберется бывало сходка, — мужики и говорят: «А ну, Илья Елустафьевич! спой-ко нам былину». А он на место ответит: «Положи-тко полтину, я и спою былину. — Тут кто-нибудь из богатых выложит ему полтину, и станет Илья Елустафьевич сказывать. Занимался он, подобно Т. Г., рыболовством и знание свое оставил, кроме Рябинина, Кузьме Романову и сыну своему Иеву. От этого Иева Ильина несколько былин перешли в наследство внуку Ильи, Терентию Иевлеву.

Рябинин в молодости хаживал для рыбного промысла на Ладожское озеро и привык там видеть уважение и удивление к своему знанию былевой поэзии. В праздничные дни рыболовы обыкновенно собирались с разных судов в один круг слушать Т. Г. Если даже приходилась очередь Рябинину дежурить у лодки, так кто-нибудь из слушателей брал на себя исполнять его дело на сойме, а Т. Г. тем временем пел и сказывал былины без умолку. «Если бы ты к нам пошел, Трофим Григорьевич, говорили рыболовы, — мы бы на тебя работали: лишь бы ты нам сказывал, а мы тебя все бы слушали». У себя дома Рябинин не встретил уже такого внимания, потому что в Кижской волости Заонежья почти каждый смысленный старик знает или, по крайней мере, по содержанию помнит одну-две старины: сверх того и теперь еще живы другие ученики Ильи Елустафьева и иных знаменитых сказителей. Оттого Т. Г. при своем гордом и неподатливом характере, замкнулся под старость в самого себя и поет больше про свое семейство. Из детей его лучше всех выучился у него петь младший сын, Иван. — Вероятно из той же гордости, Рябинин не сразу поддался на приглашение Леонтия сказывать перед приезжим и впоследствии, несмотря на мои усиленные просьбы, не согласился ничего взять с меня за науку. Когда я, на расставаньи, подарил ему большой платок, то он сейчас же отдарил меня шитым полотенцем и счел нужным объяснить как прием подарка, так и свое отдарение: «Когда, П. Н., приятели расстаются надолго, то у нас в обычае дарить другу другу на память даровья».

На третий или четвертый день приезда своего в Кижы я съездил с Леонтьем Богдановым в Лонгасы и отыскал Козьму Иванова Романова. Жил он со старой работницей в ветхой избушке на курьих ножках. С первого взгляда в нем бросилась в глаза мягкость характера и дряхлость. Белый как лунь, слепой, робкий, он говорил дрожащим от старости голосом и приветливым тоном, употребляя самые ласковые выражения. Знакомство наше с ним установилось без всякого труда: когда я передал ему, как много былины я перенял от Рябинина, и предложил ему тоже рассказать мне что-нибудь, он охотно стал петь былину за былиною; начал он в своей избе, а кончил в доме волостного писаря, куда отправился ночевать.

Козьма Иванов будет девяноста лет и трехлетний стал темен глазами. Старик он доброго нрава, изредка только капризничает, как малое дитя; лета он свои немного утаивает и, по разговорам его, не прочь даже от женитьбы; ему-де всего шестьдесят годков. При этом он добродушно признается, что он гораздо старше Рябинина, а Рябинину явно за шестьдесят лет. Козьма Иванович содержит себя доходами с своего участка и ежегодным подаванием из Думы в шесть руб. сер. Участок у него нанимают и дают ему в год двадцать пудов ржаной муки, пуд соли, пуд крупы и три воза сена. Козьма Иванов даже держит для себя корову, за которой ходит старая работница. К деньгам он чувствует маленькую слабость и всячески старается скрыть, что у него есть кое-какая сбереженная копейка на черный день. При мне, на моих глазах, ему в собственные его руки давали по четыре, по пяти руб. сер., а он, в следующий приезд, уверял меня же, что ему «был даден в те поры один только рублик».

Петь научился Романов от рыболова Федора Яковлевича и Ильи Елустафьевича: от последнего он перенял «Вольгу», «Горе серое», «Хотена», «Дуная», «Упава добра молодца» и «Добрынюшку». В старину, по рассказам его, соберутся бывало старики и бабы вязать сети, и тут сказители, а особенно Илья Елустафьевич, станут петь былины. Начнут они перед сумерками, а пропоют до глубокой ночи. Тут и Романов повыучился старинам.

К Рябинину Козьма Иванов явно ревнует и дивится, где это и когда это соперник его научился стольким былинам. «В прежнее-то время он-де знал самую малость и хаживал даже к нему, Романову, послушать былинок. А нонь люди, поди, толкуют, Рябинин-мол стал первым сказителем». Старик совсем забыл, что Илья Елустафьевич пел не про него одного, а про всех, про целое Заонежье.

Знакомство мое с Козьмой Романовым и Рябининым не кончилось этим разом. Хотя в следующие поездки мне удавалось быть в Заонежье редко и только проездом, однако я всегда успевал видаться с старыми моими знакомцами, и не без пользы для своего сборника. Так в январе 1861 г. я записал от Романова 5 былин. Сверх того, оба певца приезжали в Петрозаводск: Рябинин очень редко для покупки хлеба, а Романов раза два в год и более для полочки из думы пособия. Всякий раз они заходили ко мне и всегда

почти пели свои былины «на послушанье» моим знакомым; а я между тем поверял свою запись, пополнял пропуски и окончательно устанавливал текст петых ими вариантов.

Теперь, кажется, мною записано все, что только помнят Романов и Рябинин. По крайней мере, во время последних свиданий, как ни старался я навести певцов на след какой-нибудь еще неизвестной мне былины или побывальщины, уже не мог от них добиться ничего нового. В 1862 году Романов припомнил только, что раз он слышал от Ильи Елустафьевича старину о том, как девица Кайдаевна (т. е. Маринка) вынуждала взять себя замуж — Добрынюшку, который загулял на ее подворье и заглянул в ее окошечко: «Если не возьмешь замуж за себя, спущу тебя в чисто поле туром-золотые рога». Припомнил он еще смутно о борьбе Ильи и Идолища. Спрашивает Идолище: «А каков у нас Илейко на святой Руси, по многу ль Илейка хлеба ест, по многу ль пьет зелена вина?» Ответ держит калика переходя: — А ест хлеба *во славу Божию*, а пьет чару *честную*: — И возрадовалось Идолище поганое: «Нет сильного могучего богатыря!»

<...> При ближайшем знакомстве с певцами, я заметил, что они не всегда поют былины совершенно одинаково. Это происходит от разных причин. Сказители не сразу вспоминают иную былинку, а старики иногда многое забывают, так например, Козьма Романов дряхлеет со дня на день и все меньше и меньше помнит стихов. Далее, сказители знают часто одну и ту же былинку от нескольких учителей и, разумеется, только тогда различают варианты, когда они резко отличаются один от другого; когда же варианты близки между собой, тогда певец поет один раз былинку по одному варианту, а другой раз по-другому. Например, в 1862 г. Рябинин пел у меня на дому былинку о Вольге и так завел ее:

Жил Святослав 90 лет,
Живучись Святослав состарился,
Состарился и переставился,
Оставалось чадо милое,
Молодой Вольга Святославович.

Это начало, быть может, заимствовано из старины о Василье Буслаеве, но, может, оно принадлежит и особому варианту о Вольге. Наконец, у каждого истинного сказителя заметно его личное влияние на склад былины, он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить пересказы Рябинина, Романова и Иевлева. Возьмем, например, былинку о Дунае, перенятую обоими последними певцами от Ильи Елустафьева. Чему иному, как не характеру Романова, следует приписать, что он упомянул или внес от себя столько ласковых выражений и особенных подробностей, опущенных Иевлевым. Почетный пир у него *пированьице, солнышко красное*, он предпочитает форму «*веки долгие коротати*», припоминает, что обе дочери у короля на *выданьи*, что

Дунаю поручают свататься *добрым словом*, что Добрыня Никитич для других *любимый товарищ*, что Дунай для короля *прежняя слуга, слуга верная*. Самые распросы короля принимают у него мягкую форму: «Скажи, скажи, Дунай, не утай собою». Даже, когда король сажает Дуная в погреб, то в королевском наказе нет ничего грозного или злобного: «Пусть-ка во Литвы погостить, в погребу посидит, может, Дунай *догадается*». Между тем как у Иевлева король тут же выказывает замашки неумильные: «*Возьму-то я тебя за желты кудри*, посажу я тебя в глубокий погреб: пусть-ка Дунай в хоробры погостит, тошто Дунай *образумется*». В свою очередь Иевлев, как зрячий, припомнил подробности, которые были неинтересны для слепца от рождения. На пиру «все были за столы посажены, и всем были кушанья налажены». После вызова Владимира «все за столом призамолкнули, все за столом приутихнули, никто-то тут никакого словечка не вымолвил: больший тулется за среднего, средний тулется за меньшего, а от меньшего и отговору нет». Когда Дунай выпросил у Владимира товарища, то просит еще: «двух жеребчиков неезжанных, да и два седлышка недержанных, и две узды обе недержанные, и две плеточки обе не хлыстаны». Наконец, Дунай рассердился: «здынул-то он руки выше головы, допустил он до того стола до дубового, питья на столах проливаются, альни стол в щепья приломается, альни мать-земля да сколыбается». Если личное вообще влияние певца на былинку неоспоримо, то, как бы ни установился у него пересказ, как бы ни закончились формы, все порою скажется и влияние личного настроения минуты: иногда певец употребит одни из своих обычных выражений и форм, иногда другие. Например, Романов сколько раз пел у меня одну и ту же былинку и всякий раз пел с небольшими вариациями, то кое-чего не доскажет, то сократит несколько стихов в один, то вставит новый стих.

После этого подробного рассказа о сказителях считаю излишним перейти к некоторым общим положениям о народной поэзии.

В развитии народной поэзии следует различать несколько моментов. Бывает такая пора в народной жизни, когда поэтическое настроение и поэтический материал составляет состояние целого народа, и всякая живая, восприимчивая личность, при первом возбуждении извне, выделяет свое чувство или представление в поэтический образ и облакает его сейчас же в поэтическую форму, которая в ту пору под рукою у каждого. Таково, говорят, и теперь еще эпическое настроение Сербии. У нас на Руси, сколько я ее видел, подобное настроение бывает только у *женщин, лирическое, и в минуты сильного горя*. Выражение его — *заплачки*, в которые чувство выливается само собою на свадьбах, при похоронах, при отдаче детей или родных в рекруты. В Петрозаводском Заонежье и на Пудожском побережье каждая почти женщина умеет высказать ощущение своей скорби, или слагая новую заплачку, или применяя к обстоятельствам старую.

<...> В Повенецкой части того же Заонежья, как я уже говорил выше, заплачки слагаются не всеми; они образовали уже нечто за-

конченное и сохраняются особыми, почти официальными лицами, плакальщицами или вопленицами.

Второй момент развития народной поэзии представляет у нас песня. Она захватывает более или менее весь круг ощущений, собственных и дорогих русскому человеку. Оттого почти в каждой личности из народа хранится такой запас этих песнопений, что посредством их крестьяне могут отозваться на каждое событие в жизни, на каждое движение в сердце. Но народного творчества тут уже нет, пора его прошла. Бесконечный запас песен большею частью своею принадлежит прошедшему и потому только доступен каждому крестьянину, что прошедшее это в главных чертах сходно с настоящим. Если заметны некоторые изменения в песнях вследствие условий местности и времени, то новых песен уже не слагается; я, по крайней мере, не знаю таких. Слыхивал я *новомодные* песни; но они лишены были всякого художественного достоинства и отзывались харчевнею, кабаком и передней, или же составляли явное подражание произведениям личного творчества.

Переходя к нашим былинам, припомним историю развития былевой поэзии у других народов индо-европейского племени. Вообще образование первоначального эпоса происходит еще в то время, когда письмена не изобретены или не в большом употреблении, когда человек, желая сохранить прошедшее в памяти, прибегает к размеру и напеву, и когда в стихотворную форму облакаются не одни предания и исторические воспоминания, но и законы, пророчества, предзнаменования. Сначала подвиги героев и события национальной жизни передаются потомству в коротеньких, отдельных героических песнях. Эти песни мало-по-малу группируются около любимых народных героев и образуют целые циклы разного времени и происхождения; циклы в свою очередь, под влиянием какого-либо господствующего мифа или преобладающей нравственной идеи, сближаются между собою и при участии личного творчества сплочиваются в эпопею. — Затем народные былевые песни мало-по-малу теряют свой поэтический характер, частью уступают место поэмам, рыцарским романсам, частью переходят в сказки и лирические песни. На окраинах цивилизации, в захолустьях, они держатся дольше и, по слухам, например, песни о Сигурде, Брунгильде и Гегни сохранились на Фероерских островах даже до нашего времени.

Наша эпическая поэзия остановилась на первой ступени развития, былинах, и не успела перейти в эпопею. Зато многие былины, смотря по тожеству изображаемого ими быта и мирозерцания, сами собою сгруппировались в циклы: старших богатырей, Владимиров, Новгородский, Московский и Казацкий. Если взять все варианты последних четырех циклов вместе и отделить позднейшие вставки, то получится несомненно древняя основа, которая современна или близка по времени воспеваемым былинами событиям. Некоторые варианты так мало пострадали от времени, что пересказы, записанные в XVII и XVIII столетиях, в существенном не отличаются от тех, которые поются современными нам певцами. Но так как бы-

лины сохранились в памяти народа исключительно посредством устного пересказа, то, естественно, иные в форме своей и мелочах, другие в самом содержании подвергались в течение веков постоянным изменениям. Изменения эти разного рода. На одни из них можно смотреть как на естественное развитие былины. Так, многие старины дошли до нас и в первоначальном кратком виде, и в длинных пересказах, в которых предметы отдельных песен стали эпизодами. Некоторые варианты о Илье и Добрыне разрослись до огромных размеров и обнимают почти все подвиги воспетых ими богатырей. Другого рода изменения составляют анахронизмы, которые неизбежно вкладываются во всякое устное предание. Сюда относятся древние и позднейшие вставки в текст новых обычаев, учреждений, названий оружия, чинов и проч. — Сюда же принадлежит приурочение к времени Владимира таких событий, которые случились до него или гораздо позже него, и вообще замена богатырей старшего поколения младшими. Третьего рода изменение состоит в том, что подвиги богатыря стушевываются и обобщаются до того, что былина делается безыменной, а образ богатыря общим типом. Еще шаг, и старина теряет напев и разрушается. Такое разрушение иногда замещается переходом в побывальщину, сказку или лирическую песню.

Итак, наше поколение застало былевую поэзию вполне сложившеюся. — После Московского периода появляются вновь одни исторические песни, былины же не слагаются вновь, а только сохраняются в народе посредством устного пересказа. В сохранении народного эпоса сначала принимают участие и городские обыватели, но с нынешнего столетия былевая поэзия передается от поколения к поколению исключительно памятью сельского населения и притом не по целой Руси, а преимущественно на *украинах*, в губерниях Олонецкой, Архангельской, Пермской, Оренбургской, Саратовской, Симбирской и Нижегородской.

В Олонецком крае былины сохранились между русским населением уездов Петрозаводского, Пудожского, Каргопольского, и в некоторых местностях Повенецкого, Вытегорского и Лодейнопольского. В последних двух они известны немногим, а потому явно забываются и переходят в побывальщины. Но в первых трех уездах и той части Повенецкого, которая прилегает к Пудожскому побережью, старины очень распространены и до сего времени усердно сохранились народом. — Во всех этих местностях каждый крестьянин знаком с содержанием былин и именами некоторых богатырей. В Заонежье и на Пудожском побережье у всякого смышленного пожилого человека отыщется в памяти одна-две былины, и хотя сам-то он полагает, что ничего не знает, — однако, при случае, вдруг припомнит какую-нибудь былевую песню. Главные хранители былин здесь *сказители*, а в Каргопольской стороне *калики*. Сказители поют по охоте, из любви к искусству, а калики по ремеслу. Первые научились своему знанию от знаменитых «досюльных» сказителей: Ильи Елустафьева, Игнатия Иванова Андреева, Федора Яковлева и других стариков, вторые от таких же стариков и калик. Сказитель

обыкновенно зажиточный крестьянин, земледелец, рыболов, содержатель почетного двора. Как бы переход к каликам составляют переходные певцы, большею частью портные, но и те имеют оседлость и не нуждаются в деньгах, между тем как калики живут милостынею. Научившись былинам от предков, певцы в свою очередь передают знание своим детям. Так Андрей Сорокин еще молодой парень, а рассказывает превосходно и выучился этому от отца. Сыновья Рябинина, в особенности младший Иван, тоже многое переняли от Т. Г. Но у большинства сказителей вряд ли найдутся наследники, и через двадцать-тридцать лет, по смерти лучших представителей нынешнего поколения певцов, былины и в Олонецкой губернии удержатся в памяти у очень немногих из сельского населения.

¹ Статья «Заметка собирателя» П. Н. Рыбникова написана под непосредственным впечатлением от проведенной им в Заонежье собирательской работы и полностью опубликована впервые в III томе его собрания «Песен», вышедшего в 1861—1867 гг.

Перепечатано с сокращениями из книги: «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», Т. I. Изд. 2. М., 1909, стр. LX—CII.

Павел Николаевич Рыбников (1831—1882) — известный этнограф, собиратель былины и других жанров фольклора. Вышедшее в 60-х годах собрание его «Песен» произвело переворот в деле изучения народной поэзии и дало в руки ученых огромный материал. Интерес к народному творчеству и его хранителям определялся прогрессивными настроениями П. Н. Рыбникова, сосланного в Олонецкую губернию за участие в студенческом революционном движении.

² С щетками для льна.

³ Неличе — неприлично; лембой — черт.

ЛИТЕРАТУРА

Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов. Под ред. П. Г. Богатырева. Изд. 2. М., Учпедгиз, 1956, стр. 120—133.

М. К. Азадовский. История русской фольклористики. Т. II. М., Учпедгиз, 1963, стр. 222—225.

А. М. Разумова. Из истории русской фольклористики. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 17—74.
